



Юрий Павлович Казаков
Двое в декабре
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8206506
Двое в декабре. Рассказы/Сост. и вступ. ст. Е. А. Шкловского; Ил. А. Веркау.: Дет. лит.; Москва;
2001
ISBN 5-08-003962-0

Аннотация

В сборник известного прозаика вошли его лучшие рассказы о детях, о природе, о животных, о любви: «Никишкины тайны», «Свечечка», «Голубое и зеленое», «Некрасивая», «Тедди» и др.

Содержание

Дальний путь к близкому	5
Рассказы	14
Тихое утро	15
На полустанке	23
Ночь	28
Некрасивая	36
Голубое и зеленое	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Юрий Павлович Казаков

Двое в декабре

Рассказы



Ю. Казаков

1927–1982

Дальний путь к близкому

Один из лучших рассказов Юрия Казакова «Свечечка» начинается с того, что герой испытывает острую тоску. Они с маленьким сынишкой одни в теплом освещенном доме, а снаружи ноябрьская тьма, ветер, печальный шум обступившего дом леса. И вдруг эта мучительная тоска – «хоть вешайся!».

Можно скользнуть по первым строчкам рассказа и, заразившись настроением автора, которое так сильно умел передавать Юрий Казаков, двинуться дальше, но давайте задумаемся: взрослый человек, сильный и опытный, под властью тяжелого настроения почти готов свести счеты с жизнью, а рядом – ничего не подозревающий, живущий в своем радостном и светлом мире ребенок. Малыш и не чувствует нисколько своей незащищенности и малости: ведь рядом с ним отец, с которым ничего не страшно, самый сильный и самый добрый. Откуда ему знать, что отец, пока сынишка занят своими игрушками, мучается, страдает от неведомой ему самой темной силы? Что даже теплый дом и счастье отцовства ему не опора?...

Подумайте только, какая пропасть здесь открывается! Отец и дитя, в сущности, незащищены перед жизнью. И прочность дома, и уют, и все остальное создают лишь иллюзию надежности, потому что сам человек, его душа подвластны ненастью.

Так, фактически первой же фразой рассказа Юрий Казаков вводит глубоко драматическую тему, которую условно можно обозначить как «человек и жизнь» и к которой всегда обращено подлинное искусство.

Однако читаемся еще раз в первые строки «Свечечки», вслушаемся в них:

«Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться – хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять».

Все слова здесь просты и знакомы, да и изображаемое рассказчиком обыкновенно и буднично. Но попробуйте поменять их местами – очарование исчезнет, текст перестанет излучать ту загадочную энергию, которая и является глубинной сутью художественности. А как много общего здесь у прозы с поэзией.

Да, мы знаем: ритм, интонация... Все так, и тем не менее непостижимо. Мы словно заново открываем осень, печаль предночного часа, шум облетевших деревьев, манящий свет в окнах тепло натопленного дома... И самое главное – мы вдруг начинаем ощущать радость, счастье и чудо жизни.

Думаю, именно здесь разгадка притягательности казаковской прозы. О чем бы он ни рассказывал – о детстве ли, о полюбившемся ему навсегда Русском Севере, о привороживших белых ночах, о животных, любви или охоте – «надо всем, во всем – великое очарование живой жизни», как точно заметил о его прозе другой замечательный писатель – Ю. Трифонов.

Казалось бы, парадокс...

Рассказчик говорит в «Свечечке» о тоске, о чернеющей земле и своей нелюбви к темноте, к ранним осенним сумеркам, к серым дням, к поздним рассветам. И это не фраза – мы

ведь тоже чувствуем вместе с автором эту сосущую смертную тоску последнего увядания, и темь, и печаль...

Но сквозь тоску пробивается что-то иное, звучит все громче, набирая силу к финалу рассказа, – и вот уже только счастье и радость жизни слышны нам, и тем пронзительней эти аккорды, что в них вплетены звуки горечи и страдания.

«Впрочем, – продолжал я, – не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно, и ноябрь тоже! Ноябрь – как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво – это просто кажется, а на самом деле все живет».

Это рассказчик успокаивает даже не столько сынишку, сколько себя самого.

Так чего же все-таки больше в этом мире? Этой самой ужасной тоски, способной затмить разум человека, перекрыть кислород его легким, или же радости от ощущения полноты и насыщенности бытия?

Ни того и ни другого. Или, вернее, и того и другого – как неотъемлемой способности человеческого сердца печалиться и радоваться, восхищаться и негодовать... Одним словом, самой жизни в ее полноте и многообразии, в ее непредсказуемости и свободе.

Именно в этой безусловной самоценности жизни убеждают нас лучшие произведения Юрия Казакова, и прежде всего те, где появляются у него образы детства: ранние – «Ночь», «Никишкины тайны» и поздние – «Свечечка», «Во сне ты горько плакал».

Через эти рассказы, через их особенный, неповторимо нежный лирический настрой, как по тонким дощечкам, проложенным через болотную топь к заветным охотничьим местам (этот образ навеян казаковским же рассказом «Долгие Крики»), мне кажется, можно выйти к главным источникам, питавшим творчество писателя.

Вот ранний рассказ «Ночь», невольно заставляющий вспомнить тургеневский «Бежин луг». Ночь, двое подростков у костра, где-то за деревьями плеск реки, непритязательный разговор ребят со случайно набредшим на огонь рассказчиком.

Из этого разговора мы узнаем, что старший из ребят, Семен, работающий лебедчиком на лесосплаве, не только остро и глубоко чувствует природу, но еще и наделен талантом музыканта. Его заветная мечта, которой он доверчиво делится с едва знакомым человеком, – сочинить «одну вещь» про ночь, про ее таинственность и прелесть, тишину, гуд сосен.

«Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу, на сердце щемит у меня, лягу спать – не сплю, а засну – часто такая музыка играет!»

Эта музыка хорошо понятна самому рассказчику, как близки ему отзывчивость, чуткость и щедрость простосердечно открывшейся детской души.

Рассказ – о встрече двух духовно близких людей, подростка и взрослого, о чьем трепетном восприятии окружающего мира мы узнаем из лирического зачина повествования. Перед нами – две очарованные души. Очарованные жизнью, ее волшебством и таинством.

И вот что важно – у всего, что окружает рассказчика, что встречает он на своем пути, есть привкус счастья. Ночь, костер, стук сталкивающихся на воде бревен, далекий крик сплавщиков, песня, в которой не разобрать слов, приветливый голос мальчугана – все это неповторимые, наполненные поэзией и красотой моменты жизни, на которые откликается чуткая душа.

«Счастье» – ключевое слово в прозе Юрия Казакова, и многим его героям даровано испытать это состояние или хотя бы нечто похожее.

Но что такое это счастье?

Герой рассказа «На острове», ревизор Забавин, говорит так: «Надеются обычно на будущее... Надеются на будущее: и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя

рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде...»

Забавин, в отличие от некоторых других персонажей Юрия Казакова, не лирический герой, но его мысль, что «счастье у нас во всем, везде», близка самому писателю.

Герой рассказа «Кабиасы», заведующий сельским клубом Жуков, проходя ночью через лес, испытывает жуткий страх – мерещатся преследующие его таинственные и недобрые существа «кабиасы». А дома, уже собираясь заснуть, он вдруг совершенно по-другому увидел весь свой путь и теперь уже переживает его «со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц».

Каков контраст: от страха – к счастью! Какова амплитуда переживания! И все потому, что герой не только как бы заново – «будто сверху, с горы» – увидел все, что пришлось ему пройти, но и «услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час».

Попробуйте-ка отыскать интеллектуальный эквивалент этому «услышать жизнь». Бесплезно! Можно так или иначе описать подобный глубинный контакт с бытием, но выразим он только на языке музыки. Не случайно Семен в «Ночи» понимает бессилие слов передать его чувства, не случайно так много значит музыкальность в прозе Юрия Казакова.

Здесь можно говорить об особой настроенности души, об откровении, об обретении иного, сущностного, зрения, равносильного открытию мира.

Во многих рассказах Юрия Казакова и происходит такое открытие. В «Гедди» просыпающийся постепенно инстинкт возвращает сбежавшему из цирка медведю утраченные за годы неволи навыки лесной жизни и вместе с ними «великий, таинственный смысл жизни».

Вместе с пробуждением охотничьего инстинкта обретает смысл жизни и слепой гончий пес Арктур («Арктур – гончий пес»): ему дано как бы иное зрение, вызволяющее из убогости слепоты и зависимости, возвращающее радость бытия.

Заново открывает мир и Алеша, герой рассказа «Голубое и зеленое», полюбив девушку Лилю. Юрия Казакова волнует поэзия первого чувства, пробуждающего в человеке все силы жизни, обостряющего его восприятие действительности и в то же время дающего писателю возможность наиболее полно использовать свой дар – дар удивительно острого осязания жизни, ее цвета, запаха, вкуса.

Об этом даре Юрия Казакова достаточно много сказано. Вот как объясняет его действие и значение В. Конецкий: «... Своей прозой он попытался восстановить и в самом себе, и в читателях нашего поколения радость жизненной плоти. Эта живая радость, которая бывает и животной, дана человеку, дабы немного скрасить ему мучительность духовного существования. Мы – и непосредственно воевавшие, и хлебнувшие – к пятидесятым годам утратили вкус, обоняние, наслаждение видом тонкого стекла, цветом напитка, женским изяществом. Мы торопились нажраться, коли была жратва».

Актуальность такого художественного восприятия жизни имела и внутрилитературные причины. Юрий Казаков во многом продолжал традицию И. Бунина, М. Пришвина, К. Паустовского, которая в те годы была незаслуженно оттеснена на периферию литературного процесса. Своими произведениями писатель способствовал возрождению лирической прозы и тех ценностей, которые она утверждала. И прежде всего – ценности самой жизни, ее процесса, ее «великих пустяков», если воспользоваться еще раз словами Ю. Трифонова.

Нужно отметить, что Юрий Казаков в своем творчестве конца пятидесятых – начала шестидесятых годов затронул ряд важнейших тем, которые позже выдвинулись в центр литературного сознания; он как бы предвосхитил их общественную значимость, хотя тогда ему не раз предьявляли упреки в асоциальности, абстрактном гуманизме и прочих грехах. А ведь сегодня можно только удивляться именно социальной чуткости писателя.

«На полустанке», «Трали-вали», «Голубое и зеленое»... За каждым из этих рассказов Юрия Казакова ныне легко просматриваются разные ветви нашей прозы – «деревенская», «городская», «лирико-психологическая» и т. д. Писатель как бы синтезировал их в своем творчестве, хотя, скорее всего, вовсе не ставил себе такую цель. Просто он внимательно наблюдал жизнь, думал о ней, интуицией художника открывал явления, над которыми общественной и литературной мысли еще придется потрудиться в последующие годы.

И все-таки главным в его творчестве было именно глубинное чувство самоценности жизни как таковой и правомерности, законности устремления человека к счастью. Послевоенный человек в его произведениях действительно словно заново обретал вкус к жизни, учился жить и быть счастливым. И учеба эта требовала серьезной внутренней перестройки.

Довоенные годы с их пафосом социального строительства и перетряской всего жизненного уклада, страшная война 1941–1945 годов и трудные годы восстановления – все требовало от человека постоянных сверхусилий, огромного напряжения. Однако такое напряжение не может длиться бесконечно. Как только оно начинает спадать, перед человеком сразу же возникает множество проблем.

Отдаленные цели уже меньше определяют смысл существования, зато резко возрастает роль сегодняшнего, текущего дня. Счастье предполагается уже не где-то там, за горами и долами, не за грядой лет, не в неизведанности и туманности будущего, не для будущих поколений только, но – здесь, поблизости, только надо разглядеть его.

Надо научиться быть счастливым.

И было бы ошибкой, объявляя целью общественного развития благо человека, отрицать его право на счастье именно сегодня, квалифицировать его стремление к счастью как мещанство, асоциальность и т. п., что в те годы было достаточно распространено.

Разумеется, и в этом стремлении возможны передержки, тупики, противоречия, способные обернуться и холодным лицом равнодушия, и гримасой алчности, и злобным взглядом жестокости, особенно если человек руководствуется только своим корыстным интересом и готов все и всех принести ему в жертву. Все это вполне реально – последние десятилетия выдвинули много тому свидетельств, о которых невозможно говорить без горечи и гнева.

Но вопрос опять же упирается в понимание счастья.

Юрий Казаков в своих рассказах открывал то, что, в сущности, давно уже было открыто, но заслонено, отодвинуто трудными, суровыми годами, – теплоту и красоту простой трудовой жизни с ее малыми, казалось бы, но, по сути, великими радостями. Он находил поэзию в вещах самых неприятельных и будничных, но необходимых, как вода, воздух, хлеб. Он поэтизировал человеческие чувства, возвращая им ценность, – ненарочито, без дидактического нажима, хотя и у него иногда появляются полемические ноты.

Не случайно уже упоминавшийся ревизор Забавин в рассказе «На острове», отвечая каким-то своим потаенным мыслям, спорит с идеей управляемой, регламентированной, расчисленной любви: «Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь!»

Герой говорит – о чем? О загадочности любви, об иррациональности этой великой стихии. Но пафос-то рассказа в другом – в утверждении огромной значимости этого чувства для человека, для его ощущения полноты жизни. Для счастья.

Нет, Юрий Казаков отнюдь не романтизирует такой иррациональности, знает он и об очень тонкой грани между высоким и низким в этой стихии, между прекрасным чувством и грубым вожделением (рассказы «Некрасивая», «Странник», «Ни стуку ни грюку»).

Но она тем не менее есть, эта иррациональность, ее не вычеркнешь из природы человека, какой бы неподобающей она ни казалась, и потому писатель не обходит ее. Тем самым он как бы восстанавливает истинный объем человека, избегает в его изображении произвольной усеченности и неизбежного ее следствия – упрощения.

Это тоже было важным моментом в социально-духовной ситуации тех лет – честный взгляд на природу человека.

Жизнь, по мысли писателя, даже принося страдания, все равно радость. И в Алеше, юном герое рассказа «Голубое и зеленое», первая любовь которого терпит крушение, все равно живет, несмотря на боль, благодарность за испытанное, обогатившее его душу чувство – благодарность к жизни. Поэтому и рассказ оставляет светлое впечатление. Грусть его – просветляет.

Человеческая душа оказывается способной подняться над болью, возвыситься над обидой – преодолеть их именно силой ощущения своей приобщенности к великой и могущественной стихии жизни.

Я прекрасно понимаю всю условность и относительность этого «подняться», а особенно когда человек захлестнут и повержен страданием, когда в сердце нет ничего, кроме боли и отчаянья, и все разумные слова в утешение, все доводы и советы не имеют никакой силы, отпадают, как шелуха.

И тем не менее такое душевное возвышение – реальность казаковской прозы, важнейшее ее внутреннее качество, соответствующий писательскому чувству жизни настрой, которым Юрий Казаков нередко разрешает изображенные в его рассказах коллизии.

Не потому ли и взгляд сверху, объемлющий дальние дали, охватывающий нашу землю как бы из космоса, – этот взгляд становится излюбленным ракурсом изображения у Юрия Казакова?

Вспомним снова финал рассказа «Кабиясы» с внезапной «переменной» оптики восприятия мира у героя. Или вот этот отрывок из рассказа «Адам и Ева»:

«Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами – поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность».

Обратим внимание: земля в этом ощущении героя, да и рассказчика тоже (подобный образ встречается и в «Северном дневнике» Юрия Казакова), – маленькая! Весь, казалось бы, необъятный, необозримый простор жизни, все многообразие людских судеб, красот и стихий природы, оказывается уместившимся на крохотном круглом шарике, летящем в страшную бесконечность.

И это ощущение, и этот взгляд – плоды именно нашей трагедийной эпохи, познавшей самую страшную войну в человеческой истории и чреватой всякими новыми катаклизмами. Поэтому жизнь, столь любимая и боготворимая писателем, предстает уже не всеобъемлющей и не вечной, а хрупкой и уязвимой, подверженной уничтожению, как и шарик с именем Земля.

Поэтому и чувства, вызываемые рассказами, уже иные. Нежность – вот главнейшее из них, окрашивающее повествование казаковских произведений в особенный, неповторимый цвет, придающее им особую лирическую интонацию.

Какой нежностью, какой любовью и умилением овеян, например, образ ребенка в той же «Свечечке»:

«Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков

нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой».

Чувства рассказчика здесь столь трепетны, что эта трепетность сообщается и прекрасному образу младенчества, невольно вызывая поэтическую ассоциацию с колеблемым воздухом пламенем свечи. И автор подводит нас к такой ассоциации: «Да ты сам как свечечка!» – думает рассказчик.

Мне кажется, этот образ дает основания и для еще более широкого толкования, его символика ненавязчива и все-таки достаточно прозрачна в контексте всего рассказа. Колеблемое пламя жизни – оно то вспыхивает ярко, то ровно горит, а то вдруг сникает, и над плавающим воском еле теплится слабый язычок.

А в рассказе «Во сне ты горько плакал», как бы продолжающем и развивающем главную тему «Свечечки», мы становимся свидетелями угасания пламени жизни в сильном, бодром человеке, приятеле автора.

Вот они встречаются в чудесный солнечный октябрьский день, беседуют о том о сем, а потом у приятеля неожиданно вырываются полные горечи и отчаянья слова: «Когда я был такой, как твой Алеша, мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее?»

«Во сне ты горько плакал» – вершина творчества Юрия Казакова. Именно здесь писатель достигает той степени смысловой плотности, при которой рассказ только и может стать подлинной «моделью» мира. Достигает сочетанием различных планов, сопряжением по-разному эмоционально заряженных образов.

Рассказ начинается с воспоминания о теплом летнем дне, о разговоре автора с его товарищем и их невольной обращенности к полуторагодовалому малышу, сыну рассказчика, прохаживающемуся среди травы и цветов. Эта обращенность, что делает еще не ведающего всей сложности и драматичности жизни мальчугана соучастником пока никем не подозреваемой, но уже как бы зреющей, готовящейся трагедии, – нерв рассказа.

«Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил нежно, будто вернувшись издалека:

– Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя».

Отцовское чувство в этом рассказе – момент напряженного лирического переживания жизни вообще, свойственного и другим произведениям Юрия Казакова. Но здесь оно во много раз усилено именно глубинным ощущением трагедийности жизни, от которой не заслонен и малыш.

Не случайно драматическая тема рассказа разворачивается от этого светлого и радостного воспоминания к прогремевшему в пустынном ноябрьском Абрамцеве выстрелу, которым товарищ автора убил себя, и к горькому, неутешному плачу сынишки во сне. Этот внезапный странный плач малыша – «будто оплакивал что-то навсегда ушедшее» – поражает рассказчика, будит в нем тревогу и множество вопросов: «Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?»

Такая приближенность малыша к жизненной сложности и тревога рассказчика за его будущее, безусловно, способствуют силе воздействия рассказа. Да и ракурс, в котором изоб-

ражено здесь детство, пожалуй, уникален в современной прозе: счастливая идиллия с пульсирующим внутри нервом трагедийности.

В. Конецкий пишет: «Пришвин уверяет, что сказка – это выход из трагедии; что она питается детством, детство – здоровьем, здоровье дается землею и солнцем; и что человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, а с удивлением вернется и сказка...

Итак, надо вернуть себе детство.

А если его не было?

За четверть века нашей переписки вы не найдете у Казакова ни одного детского воспоминания».

В опубликованной переписке В. Конецкого и Ю. Казакова таких воспоминаний действительно нет. Да и в рассказах последнего они редки. Но вот одно всплывает как раз в рассказе «Во сне ты горько плакал» – воспоминание из военного времени: мать и сын прощаются с отцом-заключенным, которого, как можно понять из рассказа, увозят под конвоем в концентрационный лагерь (отец Казакова, подобно многим другим, безвинно осужденным в сталинскую эпоху, был репрессирован).

«Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...»

Это неожиданное вторжение в рассказ истории делает его еще более емким и глубоким. Кроме того, данный эпизод становится драматическим фоном счастливой прогулки отца и сына по древней радонежской земле уже в другое, менее беспощадное к человеку время. Эпохи как бы смыкаются, входят одна в другую, и мгновение отцовского и сыновнего единства, ничем не омрачаемой гармонии насыщается особым – драматическим – смыслом. Мы чувствуем, как бесконечно дорого оно автору, и сами переживаем его как поистине прекрасное, но и как безысходно неповторимое. Мы отчетливо слышим и боль автора – боль расставания с этим мгновением, полным отцовской нежности, умиротворенности и тишины.

В ранних рассказах пятидесятых годов о детстве у Юрия Казакова не было такого драматического чувства. Там детство предстало в радостном и гармоническом единении с окружающим миром, с природой и было связано с авторской натурфилософской мыслью о том, что все кругом живое. Там детство несло в себе и удивление, и сказку.

В «Никишкиных тайнах» отец спрашивал сына, приехавшего к нему на тоню:

«– Не боялся ехать-то?

– Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, – снимает Никишка кису. – А пошто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

– Камни-то? – задумывался отец. – Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!»

Никишке, когда он проезжает мимо заброшенных рыбацких тоней, чудится, что из окошек выглядывают лешаки, любопытствуя, куда это парнишка едет. А Семен в «Ночи» приглашает рассказчика на охоту в такое место, где охотники еще не бывали и птица непуганая, рябчики, глухари, тетерева, и тут же озеро с плавающими на нем гусями и крякушками, сколько душе угодно. И рассказ подростка звучит как волшебная сказка о граде Китеже, о земле обетованной.

Так вот, от тех «гармонических» рассказов пятидесятых годов Юрий Казаков пришел к рассказам глубинного драматизма – «Свечечке» и «Во сне ты горько плакал», написан-

ным в семидесятые. Кроме того, нам известно, что писатель работал над повестью «Две ночи» («Разлучение душ»), наброски к которой сохранились, и в частности первая глава. Автор считал ее завершенной.

Глава называется «Ночь первая».

Июль 1941 года. Две женщины и двое мужчин поднимаются на крышу дома где-то на Арбате, чтобы дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть на затемненную Москву. И вместе с ними мальчик Коля.

И вот уже на исходе ночи, «в нежнейшем сиянии рассвета» – взрыв, клубы черного дыма, взметнувшиеся к небу куски стен и балки Вахтанговского театра, гибель одной из женщин, дежуривших вместе с ними, ужас мальчика... И хриплый, чужой крик матери, когда он, маленький, «с веснушками, с прозрачными ушками, худой», ничего не понимая, бредет, хрустя осколками, по разгромленному Арбату.

Плотное реалистическое письмо Юрия Казакова запечатлевает в этих сценах страшное преобразование действительности: только что жизнь, несмотря на военное время дарившая дежурившим на крыше молодым людям крупницы поэзии – рассвет, их чувства друг к другу, прекрасная вопреки всему Москва, – эта жизнь вдруг становится апокалипсическим кошмаром, заволакивается чем-то черным. И кровь, и крики боли, и смерть...

Видимо, все это было в памяти писателя и постоянно тревожило его – не только как навсегда ушедшее в прошлое, но и как возможная трагедия будущего.

Однако вернемся еще раз к последним казаковским рассказам – «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». В них особенно сильно прозвучали важнейшие для писателя мотивы – дома и огня. Извечное человеческое – дом, свет в окнах, поэзия очага – вот что противостоит угнетающей рассказчика тоске и разлившейся по земле осенней тьме.

Можно сказать, что прозе Юрия Казакова присущ своего рода культ огня – огня освещающего и согревающего, как бы выхватывающего из тьмы бесконечности обжитое и одухотворенное человеком пространство.

Вот рассказчик в «Свечечке» зажигает спичку, чтобы разглядеть в окружающей темноте спрятавшегося сынишку. Вот он зовет его домой, обещая, что дома они будут свет включать и свечи зажигать, потому что мальчик любит горящие лампочки и свечи.

Именно свет становится в этом рассказе символом человеческой жизни, ее самых главных начал и ценностей. Не случайно рассказчик в финале вспоминает свои одинокие скитания поздней осенью на Севере. Была такая же тьма, моросил дождь, он заблудился и уже было отчаялся выйти к жилью, как вдруг впереди, «далеко, как затухающая звезда в космосе», мелькнул ему желтый огонек.

«... Я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...»

Так выстраивается образно-символический ряд рассказа: мгла – тоска – дитя – свеча – дальний огонек во тьме.

В сущности, этот рассказ – о трудном пути человека во тьме на дальний спасительный свет. Этот свет открывается рассказчику в том, что рядом, близко, – в собственном ребенке, в тепле и уюте родного дома.

Да, все это рядом, близко, но подчас нужно проделать долгий путь страдания и душевной работы, чтобы ушла тоска, отодвинулся душащий мрак. Нужно близкое ощутить близким, чтобы оно подарило свой свет, свое тепло и указало дальнейший путь.

Юрий Казаков был верен этому жизненному и художественному принципу: он открывал свет в том, что близко.

Евгений Шкловский

Рассказы



Тихое утро



Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один громче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель – Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

– Володька! – позвал он. – Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

– А не рано? – сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша – хотел места рыбные ему показать, – и вот вместо благодарности и восхищения – «рано»!

– Для кого рано, а для кого не рано! – зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

– Ты что, в ботинках пойдешь? – презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. – А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

– Ну да, – меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, – у вас там, в Москве, небось босиком не ходят...

– Ну и что? – Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

– Да ничего... Забежи домой – пальто возьми...

– Ну и забегу! – сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи – яблоками засыплут! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

– А ты галстук надень, – съязвил Яшка и хрипло засмеялся. – У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

– Стой! – сказал хмуро Яшка. – Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь

через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

– На, пей! – сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

– Ну, как водичка? – самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

– Законная! – отозвался Володя и поежился.

– Небось в Москве такой нету? – ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

– Ты ловил ли рыбу-то? – спросил Яшка.

– Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, – упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

– Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза:

– Большой?

– А ты думал! Метра два... А может, и все три – в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал – крокодил. Не веришь?

– Врешь! – восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

– Я вру? Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

– А можно? – с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

– А чего... – Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. – Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим – там голавли еще водятся – и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

– Трактор! – ответил важно Яшка.

– Трактор? Но почему же он трещит?

– Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слышал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

– Туманы у вас всегда такие?

– Не... Когда чисто, а когда – попоздней, к сентябрю поближе, – глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет – успевай таскать!

– А какая у вас рыба?

– Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом, эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал – рот разинул.

– А много можно поймать?

– Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

– Что это свистит? – Володя остановился, поднял голову.

– Это? Это ути летят... Чирочки.

– Ага! Знаю... А это что?

– Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

– Никогда не ловил.

– У Мишки Каюнёнка сетка есть... Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жадные. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку ползут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

– Долго еще идти? – спрашивал Володя.

– Скоро... Вот рядом. Пошли ходчее, – каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, ложиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла раkitником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла.

В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» – и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закричали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и прыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

– Тут знаешь глубина какая? – Яшка округлил глаза. – Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

– В этом бочаге у нас никто не купается...

– Почему? – слабым голосом спросил Володя.

– Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Вода – как лед и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил – там осьминоги на дне лежат.

– Осьминоги только... в море, – неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

– «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит – из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, – несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилица, нетерпеливо устоялся на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилицем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

– Ушла, а? Ушла... – пришепetyвал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилица, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилице в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилице.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

– А что, может рыба в другой бочаг уйти?

– Ясное дело! – злобно ответил Яшка. – Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянуло бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! – думал он. – Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком – только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилице. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую. Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

– Давай, давай, дава-ай!..

– Уйди! – просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, оперев комель удилица в живот, все пятился и кричал:

– Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

– Что у тебя? – присев на корточки, спрашивал он. – Покажи, что у тебя?

– Ле-ещ! – с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

– Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо...

– Держи! – крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!..» – и упал в воду.

– Дурак! – сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. – Недотепа чертова!.. Рыбу распуга-ал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало, и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! – с ужасом подумал Яшка. – Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущими руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаясь на него, по-прежнему выдавливая из себя нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплюснутый шар солнца. Чувствуя

еще на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светила паутина между цветами, и трясогозка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое – только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустил еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» – с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалились от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилив и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, – в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

– Ну как? А? Ну как?...

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

– Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каю-нёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

– Ты... что? – выдавил он из себя.

– Да-а... – выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, – ты уто-о-уто-пять... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

– Ка... как я тону-ул!.. – будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954

На полустанке



Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.



Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботинках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

– Вот она, жизнь-то как повернулась, а? – заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. – Теперь мое дело – порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

– А я как же? – тихо спросила девушка.

– Ты-то? – Парень покосился на нее, кашлянул. – Говорено было. Дай огляжусь – приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе попримжу. За границу ездить буду, житуха начнется – дай Бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда: унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

– Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

– Девятый. А что?

– Ну-ну... – пробормотал начальник и снова зевнул. – Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода – сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

– А ну хватит! – проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. – Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

– Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

– А ну брось! – сказал парень. – Сказано – приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

– Вон девятый! – быстро сказала девушка. – Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

– Девушка, это какая станция?

– Лунданка, – сипло сказал проводник.

– Базар есть? – спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

– Нету базара, – опять отозвался проводник. – Две минуты стоим.

– Как же так? – изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

– Закройте окно! – попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

– Ну, прощай, что ли, – тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

– Скучно мне будет, – шептала она. – Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

– Сказано уже, – неохотно и испуганно говорил парень. – Оботри слезы-то... Ну!

– Да я ничего, – шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи стирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. – Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

– Я помню, мне что! – хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

– А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

– Сказано... – буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

– Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... – сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

– Вася! – закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров; те сразу отвернулись. – Вася! Поцелуй же меня...

– Мне что... – пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку.

Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

– Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела, задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

– Берегись! – раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

– Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

– Уехал? – спросил он. – Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

– Скоро и я уеду... – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти – как их? – кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно:

– Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то – сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя вверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954

Ночь



Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу – я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую, мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стучал обухом топора по дереву. Далеко впереди, на другой стороне реки, яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая, прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты! Вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стучались плывущие по воде бревна, и появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий, дрожащий звук,

похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «Оооо... Аааао...», но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шаг. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой, запутанной нитью. «Кто это? – думал я. – Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником. Человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загоразживаясь ладонью от костра.

– Кто тут? – вполголоса испуганно спросил он.

– Охотник, – ответил я, подходя к костру. – Не бойтесь...

– А я и не боюсь. – Он сделал равнодушное лицо. – Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

– За утями идете?

– Да вот хочу на озеро пройти, – сказал я, снимая ружье.

– Это на какое же?

Я объяснил.

– Ну, тут близко! – успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался. – Это не вы сейчас кричали? – спросил он немного погодя.

– Нет... А что?

– Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

– Семен, Семен! – послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос.

Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

– Ну что? – лениво спросил Семен.

– Ой, Семен! Сидит кто-то! – Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. – На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там – ходит!

– Врешь!

– Большая рыбина ходит! – И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время не моргая смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту, только ноги затоптали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запахнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

– Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

– Одну я вытащил, – прошептал мальчик и, потупившись, стал тереть пуговицу на телогрейке.

– Н-но? – веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

– Брат мой, – отрекомендовал мне его Семен, – Лешка. Вы не смотрите, что он тихий, – притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

– Что? – Семен широко открыл глаза. – Что ты сказал?

– Ничего... – испугался Леша.

– Смотри у меня! – Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо; блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись.

Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

– Не курите, значит? – сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу.

Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

– Идет кой-то, – боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

– Ерунда! – сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошло в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

– Медведь, наверно, – прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

– Полуношничаем, рыбаки? – неожиданно громко раздался хриловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем.

Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно побряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

– Ах, будь ты неладна! – бормотал он. – Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? – снова обратился он к нам и поднял голову. – Э-э, да тут знакомые! – Он улыбнулся ребятам. – Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешу. Тот фыркнул.

– Маловато, Петр Андреич, – смущенно заулыбался Семен. – Разве вот под утро что будет.

– А ну покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

– А, стерлядки, – с удовольствием выговорил Петр Андреевич. – Ну и хорошо. Мелковаты только.

– Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

– А конечно, – охотно согласился Петр Андреевич и задумался.

Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то

жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом; из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

– А вы что, или на Суглинки идете? – спросил вдруг Семен.

– А? – вздрогнул Петр Андреевич. – На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

– А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

– Двух щук поймал на дорожку, – вставил Леша. – Бо-ольшие щуки.

– Это Попов-то? – спросил Петр Андреевич. – Ну, ему хорошо – он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

– Около Овшанки? – задумчиво переспросил Семен. – Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

– Не знаешь, перевозчик у себя? – спросил Петр Андреевич.

– У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

– Это рябенькая такая?

– Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

– Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, – усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гулянье. – Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? – обеспокоился вдруг он. – Не повезет, пожалуй, а? А то – повезет да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

– Кто его знает, – сказал он неуверенно. – Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

– А и верно! – Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог. – А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, – только трыкнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусочек бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

– Вы на что ловите-то? – спросил он.

– На подонник, – быстро ответил Семен. – На миногу.

– На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю – на той стороне волки воют. Не слышали? Подрос, видно, молодняк-то.

– У наших соседей, – оживился Леша, – волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мекнула – и готова! А он через огород – да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку саданет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

– Это верно, было такое дело, – подтвердил Семен. – А то еще было. Иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смеркалось... Так только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем, знаете? И будто кто меня толкнул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу – возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и потом ошибло... Думал, конец, но обошлось, не тронули.

– Летом они к человеку смирные, не трогают, – уверенно сказал Петр Андреевич.

– Дядя Петь... – начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. – А ведь мы на вас думали – медведь! Идет похрястывает...

– Кто думал-то? – Семен пожал плечом. – Сам думал, так на других не вали.

– Нет, ребятки, – улыбнулся Петр Андреевич, – медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? – обратился он ко мне. – Может, места здешние незнакомы вам, так пойдете со мной. Не хотите? Ну-ну... Конечно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды и протянул широкую темную ладонь Семену:

– Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет... Да! Ведь я слышал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони и хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

– Спать охота! – заявил он.

– Ну и спи. – Семен почесал брата за ухом. – Спи.

– Да, – Леша недоверчиво улыбнулся, – а сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

– Да разбужу, вот чудашка!

– Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось...

– Лешка! – встрепенувшись, сказал Семен. – Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняка. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

– Гляди лопнешь, – серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

– Да так, вообще... – пробормотал он.

– Он музыку сочиняет, – охотно сказал Леша. – У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

– Ну? – повернулся к нему Семен. – Дальше что?

– Ничего...

– Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

– Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

– Ему батя баян купил, – опять не вытерпел Леша. – Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

– Это верно, – подтвердил Семен и вздохнул. – Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой – там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкуса нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, вот как

река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну совсем не могу, – и начинаю по-своему переключивать...

Он вдруг подозрительно взгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

– У меня мечта есть: сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком – хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают. Поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум! Тум-тум, та-та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки. Долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

– А еще, – продолжал он, – надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?... А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну, звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу. На сердце щемит у меня, лягу спать – не сплю, а заснул – часто такая музыка играет! Проснусь – все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен вдруг замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоящую звездную тишину, пронеслось по реке.

– Эге-геее!.. – донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

– Эге-геее!..

– Сплавщики голос пробуют! – облегченно засмеялся Семен. – Правда здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слышать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «Тииу, тииу, тииу...»

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

– Лешка боится, а я нет, – улыбнулся Семен. – Скучно, правда, одному, а так – хорошо!

– Никого я не боюсь! – сказал вдруг громко Леша и прищурился.

– Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

– Народ здесь сильный ужасно, – снова начал он. – Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал, а он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

– Дядь, а дядь! Стрельните! – попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на ружье.

– А ты сам стрельни, – ответил я, подавая ему ружье.

– Баловство! – недовольно сказал Семен. – Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леша, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пенёк недалеко и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

– погоди! – строго остановил его Семен. – Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

– Давай! – скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пенёк с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

– Да скоро ты... – не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леша подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

– Здорово! – восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. – Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробинок, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

– Знаете что? – обратился он ко мне. – Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу... Эх и закачимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу: направо – рябчики, тетери, глухари, налево – озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смиренные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая – слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты – такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только – тых, тых, тых! – взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затащил отчаянно:

– Семе-ен...

– Ну? – Семен с удивлением посмотрел на брата.

– Семен, возьми меня-а... – тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

– Как – взять? – с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леша тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

– Взять? – снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу.

Тот pokrивился и крепко сжал задрожавшие губы.

– Возьмем! – решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

– Ага! – торжествующе закричал он. – А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-реку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой, холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти – взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, – когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

«Аааа... ооооа...» – дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стучались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стучает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955

Некрасивая



Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот вприсядку – шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют, и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» – и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее, темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусил губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! – говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. – Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

– Что такое? – громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало; чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

– А! – пьяно сказал он. – Это вы? А я... на огороде... был. – Он качнулся и прижался к ней. – На свадьбу, сволочь, пригласил! – с усилием выговорил он. – А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

– Вам плохо? – испуганно спросила Соня. – Хотите воды?

– Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

– Вам легче теперь? – тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

– Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

– Я редко хожу на гулянки.

– А! Вы при школе живете?

– При школе.

– Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

– Вы чего плакали-то? – спросил он, вернувшись. – Обидел кто?

У Сони благодарно забилося сердце. Она опустила голову.

– Нет, никто не обидел...

– А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю!

Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

– Послушайте, вы совсем пьяный! – с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

– Ну да! – Николай тер себе рукою лицо. – Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

– Ну расскажите же что-нибудь, – попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

– Чего там рассказывать?... – хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

– Пустите! – шептала она, вырываясь. – Пустите!

– Тихо! – говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. – Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

– Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

– Любишь меня? – бормотал Николай. – У, собака!

– Не надо, Коля, не надо! – сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

– Ну ладно... – сказал он. – Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

– Когда? – спросила шепотом Соня, вся дрожа.

– Часов в семь. Ладно?

– Приду...

– Ага... – Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окуроч, долго притаптывал его каблуком. – Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! – подумала она и вздрогнула. – Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

– Это любовь? – спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.



Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдаль показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! – со стыдом думала Соня. – Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки: «Придет, не придет...» Вышло – не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинута на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку:

– Привет...

– Здравствуйте, – ответила Соня, не смея поднять глаз.

– Давно ждете?

– Нет...

– Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

– Благополучно вчера дошли? – спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

– Нормально... – Николай зевнул и снял пиджак. – Не выспался только.

– Вы вчера были нехороший, – мягко сказала Соня.

– Чего еще! – Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

– Скоро стемнеет, – заметила Соня, покорно прикивая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

– Как попозднее, пойдем в горох, а? – Николай мотнул головой куда-то вправо. – Там шалаш есть. Пойдешь?

– Не надо об этом, Коля, – тихо попросила Соня и вздохнула.

– Эх, – воскликнул вдруг Николай. – Спать охота! Ну-ка дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

– Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

– Конституция такая, – насильно улыбаясь, сказала она.

– Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела – как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

– Почему вы такой грубый? – вдруг низко сказала она. – Или вы думаете, что со мной все можно? – Она резко отвернулась и стала медленно краснеть. – Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

– И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

– Ну, ну... – забормотал он. – Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел – гад буду! Это по работе – привыкаешь.

– Нет, не по работе, – уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. – А потому что... – Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно. – Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

– Что это вы ругались вчера? – спросила Соня после долгого молчания.

– Так... – Николай нахмурился. – У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видали вчера невесту? Гулял я с ней...

– Вас, наверное, многие девушки любят, – сказала Соня.

– А! – Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. – Знаю я ихнюю любовь!

– Зачем вы так, Коля? – быстро сказала Соня. – Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

– Вы не верите? – упавшим голосом спросила Соня.

– В чего это?

– В чистоту человека.

Николай засмеялся.

– Ох и любят же бабы воду мутить! Чистота... – Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугуновой силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдась и краснея.

– Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, – сказала она еле слышно.

– Обожди! – Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

– Эй! – крикнул Николай.

– Зачем вы, Коля! – шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

– Куда это? – опять крикнул Николай.

– На гулянку... А кто это? Никак, Николай?

– Он самый. Где гулянка-то?

– В Сосновке.

На дороге закурили и, подсвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

– Погодите! – крикнул он вдруг. – И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне:

– Ну, пока! Еще когда повидаемся... – Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла – думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды.

Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

– У-у! – сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. – У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак – какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте – одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» – задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956

Голубое и зеленое



1

– Лиля, – говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» – с восторгом думаю я. Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, не танцевать – танцевать я не умею, – я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы! Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыка больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает

это нарочно. Это очень плохо с его стороны – оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

– Вы любите Москву? – вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.

Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

– Пойду покурю, – говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить.

Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокурные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.